

Кинематографъ.

I.

Кинематографъ является въ настоящее время наиболѣе опредѣленно выраженнымъ видомъ анти-искусства. Тѣмъ, кто уже знакомъ съ мыслями, высказанными пишущимъ эти строки въ статьяхъ «Анти-Искусство» и «Искусство и Народъ»*), такая квалификація кинематографа не покажется непремѣнно отрицательной. Ни въ тѣхъ статьяхъ, ни въ этой не ставился и не ставится вообще вопросъ, «что лучше» и «что хуже» — искусство или анти-искусство. «Лучше» и «хуже» — эти сужденія могутъ быть высказаны съ очень различныхъ точекъ зрѣнія. Съ точки зрѣнія, напримѣръ, соотвѣтствія своей эпохѣ и предугадыванія будущаго, иѣкоторыя проявленія анти-искусства гораздо жизненнѣе (а это значитъ и лучше?) многихъ современныхъ искусствъ.

Терминологія «анти-искусства» условна и произвольна. Пишущимъ эти строки «анти-искусство» не опредѣлялось точно, чѣмъ искажаетъ и вытѣсняетъ въ современной жизни искусство. Болѣе подробно и точно опредѣлить, что такое анти-искусство можно было бы слѣдовательно только условившись предварительно въ томъ, что такое искусство. И здѣсь, во избѣжаніе недоразумѣній, надо ограничиться слѣдующимъ: будемъ понимать подъ словомъ «искусство» всѣ тѣ искусства, которыхъ созданы Европой XVII — XIX вѣка или унаследованы ею отъ предшествующихъ культурныхъ цикловъ — пре-европейского и эллинистического, то есть, живопись тона, архитектуру пропорцій, музыку гармоніи, драму словеснаго театра, лирику стиха и прозу романа. При такомъ

*.) См. «Совр. Зап.» №№ 19 и 22.

условіи никому не возбранно называть виды дѣятельности, стремящейся замѣстить въ нынѣшней жизни всѣ эти искусства, ну хотя бы даже « новымъ искусствомъ ». Сущность дѣла не мѣняется отъ того или другого названія. Названіе « анти-искусство » однако болѣе правильно, такъ какъ оно выражаетъ до нѣкоторой степени и сущность дѣла, слово же « новый » вообще никогда ничего не выражало, кромѣ ощущенія момента смѣны чего-то одного чѣмъ-то другимъ.

Менѣе всего можно усомниться въ томъ, что кинематографъ играетъ въ современной жизни роль куда болѣе замѣтную, чѣмъ очень многіе виды искусствъ. Нелегко было бы вычислить, какая ничтожная часть населенія Европы и Америки замѣтила бы, напримѣръ, если бы это случилось, что живописцы перестали писать картины и выставлять ихъ на выставкахъ. Думается также, что и закрытие всѣхъ безъ исключения театровъ въ какой угодно странѣ не было бы почувствовано значительнымъ большинствомъ даже одного ея городского населенія. Но прекращеніе кинематографического дѣла, закрытие кинематографовъ вѣтъ всякаго сомнѣнія затронуло бы дѣйствительно большинство жителей каждого города и сдѣдовательно оказалось бы крупнымъ событиемъ въ соціальной жизни. За короткій періодъ своего существованія кинематографъ успѣлъ врасті въ соціальную жизнь и распространился въ ней такъ широко, какъ это не удавалось никакому театру въ европейской періодѣ исторіи.

Но, могутъ сказать, такая « количественная » оцѣнка кинематографа не можетъ служить вѣрнымъ мѣриломъ его современного значенія. Если соціальное мѣсто искусства не есть окончательный критерій его внутренней необходимости, то не относится ли тоже самое и къ анти-искусству ? Въ концѣ концовъ, въ общеніе съ искусствомъ вступаетъ индивидуальный человѣкъ, и къ индивидуальному человѣку, а не къ человѣческимъ коллективамъ оно обращается. И если анти-искусство можетъ быть сопоставлено съ искусствомъ или ему противопоставлено, то это лишь потому, что и его объектъ въ концѣ концовъ тоже индивидуальный человѣкъ. Иначе шла рѣчь бы о явленіяхъ вообще какого-то совершенно иного порядка.

Кинематографъ сдѣлался необходимостью для современного индивидуального человѣка. Ему отданы часы досуга, отдыха, рекреаціи, тѣ часы, когда человѣкъ жи-

веть болѣе всего именно какъ индивидуальный человѣкъ, а не какъ соціальный человѣкъ. Вечерняя жизнь городовъ, особенно большихъ городовъ, это въ значительной степени жизнь подъ знакомъ кинематографа. Притяженіе его такъ велико, такъ наглядно, какъ никогда не было притяженіе театра, картины или книги. И это показываетъ, кстати сказать, что эмоціональный фондъ современного человѣка вообще не оскудѣлъ. Энергіи чувствованій очевидно, не уменьшились. Имъ дано только совершенно иное направление. Волненія современного человѣка направлены не въ сторону искусства, но въ сторону анти-искусства. И точно такъ же, какъ искусства XVII — XIX вѣковъ являются наиболѣе надежнымъ свидѣтельствомъ для сужденія о быломъ европейскомъ человѣкѣ, анти-искусство должно раскрыть въ самомъ процессѣ его сложенія современного «постъ-европейца». Кинематографъ объясняетъ современность въ ея интимности, въ непроизвольности тѣхъ эмоціональныхъ чаяній, которая онъ одинъ оказывается способенъ удовлетворить. Въ вечерніе часы стихающихъ судорожно большихъ городовъ каждый полутемный залъ съ мельканіемъ неживо безцвѣтныхъ изображеній на свѣтломъ экранѣ является мѣстомъ весьма знаменательного опыта о нашемъ современникѣ и о самихъ себѣ.

II.

Кинематографъ — живая фотографія. Однако не живая, конечно, но только очень быстро движущаяся фотографія. Скорость движенія и его ритмъ вполнѣ механичны, такъ какъ въ органической жизни, постигаемой непосредственно, а не черезъ методы точныхъ наукъ, такихъ скоростей и такихъ ритмовъ не знаетъ человѣкъ. Само по себѣ то обстоятельство, что мы видимъ движущіяся фигуры, въ результатѣ быстраго движенія ряда неподвижныхъ снимковъ, указываетъ, что мы психологически оказываемся какъ разъ въ надлежащихъ условіяхъ этого физического опыта. Изъ чего не слѣдуетъ, что всякий человѣкъ долженъ всегда оказаться въ этихъ условіяхъ. Показался ли бы кинематографъ «живой» фотографіей египтянину, римлянину, даже человѣку XVIII вѣка, — въ этомъ позволительно усомниться. Нашъ предокъ, быть

можеть, увидѣлъ бы эти мельканія на экранѣ какъ-то совсѣмъ по иному и по своему. Иначе « прочелъ » бы онъ ихъ, иначе « расшифровалъ » бы, лишенный той научной базы, которая лежить гдѣ-то въ основѣ всѣхъ воспріятій современного человѣка. Такъ лишенная болѣе общаго человѣческаго опыта « читаетъ » какъ-то по своему собака болѣе простой физической фокусъ — отраженія въ зеркалѣ.

И замѣчательнѣе всего, что оптическій экспериментъ кинематографа удается со всякимъ современнымъ европейскимъ человѣкомъ, съ ребенкомъ, съ человѣкомъ не изучавшимъ никакой физики. Способность « читать » впечатлѣнія жизни на научномъ языкѣ становится врожденной, инстинктивной, безсознательной, что неизмѣримо важнѣе, чѣмъ если бы она была только сознательной. Начально видѣть воспитывается постъ-европейскій человѣкъ не столько въ какой либо школѣ, сколько въ самомъ процессѣ современной механизированной жизни. Крестьянинъ, встрѣчающій автомобиль только на сельскихъ дорогахъ и не отдающій себѣ отчета въ его устройствѣ, ребенокъ, выростающій при свѣтѣ электрической лампы « привычной какъ солнце », — уже вовлечены въ кругъ научнаго міроощущенія. Само собой разумѣется, что есть градации въ этомъ міроощущеніи, и что у жителя большихъ городовъ оно полнѣе, напримѣръ, чѣмъ у сельскаго жителя. Недавняя война, насквозь научная, насквозь механизированная, поставившая миллионы людей лицомъ къ лицу съ чудовищнымъ физическимъ экспериментомъ, нарушившимъ всѣ привычки органической жизни, сыграла огромную роль въ пересозданіи психики европейца и въ пріготовленіи психики постъ-европейца.

Постъ-европеецъ не замѣчаетъ научнаго фокуса ни въ свѣтѣ электрической лампочки, ни въ движениіи фігуръ на экранѣ кинематографа. Ритмы и скорости этого движенія для насъ знакомы. Они входять въ наше представленіе о закономѣрности жизни, несомнѣнно совсѣмъ иное, чѣмъ представленіе даже не очень далекихъ нашихъ предковъ. Важно замѣтить, что это представленіе во всякомъ случаѣ не то, съ которымъ создавались великія европейскія искусства XVII — XIX вѣка. Люди, создавшіе, напримѣръ, европейскую живопись, несомнѣнно дѣйствовали въ какой-то иной природной закономѣрности, чѣмъ та, въ которой кинематографъ достигаетъ своихъ резуль-

татовъ. Мы научились видѣть кинематографъ и еще не совсѣмъ разучились видѣть живопись. Но мы живемъ несомнѣнно въ переходное время, на заходящихъ одинъ за другой предѣлахъ двухъ эпохъ. Только послѣдующимъ поколѣніямъ удастся провѣрить въ своемъ опытѣ, совѣстимо ли воспринимаемое отъ колыбели научное міроощущеніе съ восприятіемъ искусства — великихъ европейскихъ искусствъ.

Кинематографъ является научнымъ фокусомъ вдвойнѣ: это не только живая фотографія, но и фотографія. Фотографія же сама по себѣ кажется настолько привычнымъ, настолько обыкновеннымъ научнымъ фокусомъ, что если у зрителей экрана еще и бывають слабые слѣды удивленія отъ «живой» фотографіи, то отъ фотографіи самой по себѣ, конечно, никакихъ слѣдовъ удивленія ни у кого нѣтъ. Объ этомъ просто забываютъ, объ этомъ не думаютъ. Между тѣмъ вѣдь именно съ фотографическими снимкомъ зрителя кинематографа и имѣеть дѣло. Не своихъ любимыхъ исполнителей видѣть онъ, не Чаплина, Дэгласа Фербенкса и Харольда Ллойда, но только фотографические снимки съ нихъ. Между исполнителями и зрителями находится фотографъ, и фотографъ и есть конечно реальный исполнитель кинематографа. Существенно помнить что кинематографический актеръ старается, какъ всякий актеръ, воздействовать на зрителя чисто психическими средствами игры, но прежде чѣмъ дойти до зрителя эти средства проходятъ черезъ передаточную инстанцію совершенно иного порядка, черезъ научно руководимый фотографомъ физико-химической экспериментъ свѣтопечатанія.

Фотографический снимокъ вообще чрезвычайно неприроденъ, въ немъ нѣтъ ни одного природнаго цвѣта, нѣтъ даже чернаго и бѣлаго, но есть только свои чисто фотографические цвѣта. Ни тонъ ни перспективу человѣческой глазъ (глазъ европейскихъ великихъ живописцевъ) не видѣть такъ, какъ передаетъ ихъ объективъ фотографического аппарата. Въ фотографіи есть вообще большая зрительная неправда, безличная и мертвая научная неправда, если сравнить ее съ чудесной, живой художественной неправдой великихъ живописцевъ. О снимкахъ часто говорятъ, что они болѣе или менѣе искусны, что они даже «художественны». Критеріемъ въ этихъ случаяхъ служитъ сходство съ живописью. Фотографія

можетъ до нѣкоторой степени приблизиться къ живописи, подражать ей въ композиції, въ распредѣленіи свѣта и тѣни, въ эффектѣ пятна. Нѣкоторые фотографическіе снимки, снятые противъ свѣта, даютъ впечатлѣніе живописного тона, въ другихъ чисто по живописному даны контрасты бѣлаго и чернаго, въ третьихъ остроумно найдены рисуночный контуръ. Однако и въ этихъ случаяхъ рѣчь можетъ идти лишь о подобіи живописи и рисунку, по существу же фотографія лишена цвѣта, и даже фотографической бѣлый и черный цвѣтъ не имѣть ничего общаго съ бѣлымъ и чернымъ въ живописи и въ природѣ, а о линіи не можетъ быть и рѣчи, такъ какъ линія существуетъ только въ глазу и въ рукѣ художника. Кромѣ того фотографія никогда не можетъ приблизиться къ живописи настолько, чтобы перескочить черезъ препятствіе характерно фотографической фактуры — механическаго зеркального строенія свѣточувствительного слоя въ позитивѣ. Въ кинематографіи, въ діапозитивѣ мы имѣмъ дѣло съ проекціей, тѣнью. Окрашенность этой тѣни, однако, совершенно нежива, и неорганическую ея природу легко понять, сравнивъ ее съ живыми природными тѣнями, съ тѣнями лунными, съ дышащей воздухомъ солнечной тѣнью, положимъ, тѣнью отъ цвѣтка на камнѣ.

Подражая живописи, фотографія стремится выйти изъ своего существа анти-искусства и уподобиться искусству. Ошибочное, конечно, и обреченное на неуспѣхъ стремление! Характеръ нашего переходнаго времени сказывается въ томъ, что даже кинематографъ, одинъ изъ наиболѣе развившихся видовъ анти-искусства, заимствуетъ приемы и цѣли искусства, питаясь глубоко чуждыми ему элементами, ища точку опоры въ живописи, въ театрѣ, въ литературѣ, снижая до себя возможности этихъ искусствъ. Не на этомъ пути кинематографъ могъ бы найти себя.

III.

Въ жизни кинематографъ чаще всего занимаетъ мѣсто театра. Естественно, что онъ смыкается иногда съ театромъ и въ большинствѣ случаевъ является какимъ-то нелѣпымъ полутеатромъ. Нелѣпымъ — потому что по существу между театромъ и кинематографомъ нѣтъ ничего общаго, кроме того, что и то и другое — зрѣлище. Одна-

ко, спортивный матчъ или скачки тоже зрѣлище и даже нелишенное нѣкоторыхъ театральныхъ элементовъ (ихъ нелишены и засѣданіе парламента, и митингъ, и смотръ войскамъ), но все таки зрѣлище очень далекое отъ театра, какъ отъ искусства.

Любопытно, что сама жизненная практика проводить эту грань между театромъ и кинематографомъ въ очень важномъ моментѣ устройства ихъ и существованія. Кинематографическое дѣло — индустрія, въ самомъ реальному, обыкновенномъ и точномъ значеніи этого слова. Театръ, при всей зараженности къ нѣкоторымъ случаямъ индустріализмомъ эпохи, все же индустріей не сдѣлался и не сдѣлается. Ему недоступны два момента, существенные для всякой индустріи — моментъ расчета на широкій сбыть, на массовое потребленіе и моментъ механическаго размноженія, моментъ штампа. Въ соотвѣтствіе этому вся организація кинематографического дѣла индустріальна и практика его до конца подчинена всѣмъ индустріальнымъ законамъ. Меценатство неизвѣстно въ кинематографіи, тогда какъ безъ меценатства театръ вообще не можетъ существовать. Ничего удивительного нѣтъ въ томъ, что кинематографическое дѣло попало въ руки людей, имѣющихъ индустріальные навыки и, кроме этого, не имѣющихъ «за душой» рѣшительно ничего.

Театральный міръ и кинематографический въ жизни встрѣчаются, сталкиваются, пересѣкаются чисто вѣнчаниемъ образомъ. Театральные люди, вообще говоря, въ кинематографіи играютъ не очень замѣтную роль. Лучшие театральные режиссеры не привились въ кинематографѣ, и здѣсь нашлись режиссеры свои собственные, зачастую никогда не имѣвшіе никакого отношенія къ театру. Точно тоже можно сказать и объ актерахъ. Большимъ артистамъ театра не удалось сдѣлать въ кинематографѣ что-либо очень замѣтное. Во всякомъ случаѣ кинематографъ держится не ими, но своими собственными по праву знаменитыми исполнителями, часто лишенными малѣйшаго театрального опыта. Да театръ ихъ и не привлекаетъ — талантливыхъ и умныхъ изъ нихъ нѣкоторый тактъ удерживаетъ отъ театральныхъ выступлений.

Наконецъ, то «содружество искусствъ», которое въ какихъ-то случаяхъ прямо необходимо въ театръ, а въ другихъ не портить дѣла, въ кинематографѣ оказывается «ви къ селу, ни къ городу». Живолисцу въ кинематографѣ

дѣлать нечего. Надо оговориться—живописецъ иногда можетъ быть очень полезенъ какъ человѣкъ «съ глазомъ», и особенно если онъ изобрѣтательный человѣкъ, чувствующій свое время и оттого способный высказаться не въ формахъ и приемахъ своего искусства. Вѣдь очень многие люди искусствъ нашего времени носятъ въ себѣ начало анти-искусства. Но если такой живописецъ и можетъ быть нуженъ для кинематографа, живопись его, примѣнимая въ театрѣ, здѣсь не примѣнима и не нужна.

Что же касается музыки, то ея роль въ кинематографѣ въ высшей степени замѣчательная и странная. Какой дикой мыслью показалось бы, напримѣръ, въ театрѣ сопровожденіе исполненія «Марії Стюартъ» музыкой садовой эстрады или муниципального воскреснаго концерта. Кинематографическая «Марія Стюартъ» не только минится съ этимъ отлично, но прямо требуетъ такого аккомпанимента. Самая заурядная театральная комедія или драма не пойдетъ все же подъ ресторанныю музыку, и, однако, безъ этой музыки никто не станетъ смотрѣть самую остроумно придуманную и серьезно выполненную кинематографическую вещь. Безъ музыки вообще кинематографъ не смотрится. Кому пришлося видѣть такія безмолвныя показыванія фильма въ какомъ нибудь предпріятіи, тотъ знаетъ, какъ быстро утомляется глазъ и ослабѣваетъ вниманіе, какъ остро выступаетъ въ такихъ случаяхъ неживая, неоживленная, механическая природа кинематографа.

Нѣчто довольно близкое къ значенію музыкального аккомпанимента въ кинематографѣ, это его значеніе въ циркѣ, и на спортивномъ состязаніи. Единственное соответствие зрѣлищу, которое можетъ въ данномъ случаѣ найти музыка, это соответствие только ритмическое. Въ кинематографѣ музыка имѣть характеръ двоякой иллюстраціи — эмоциональной (и это наиболѣе вульгарный случай) — ритмической (и это случай наиболѣе интересный). Прислушайтесь къ искусному кинематографическому аккомпаньетору. Не смущаясь плететь онъ свою невѣроятную мозаику изъ Шопена, оперы Верди или Чайковскаго, эстраднаго романса, ресторанныхъ танца, начиная, обрывая, не кончая, но всегда и все во время, не въ смыслѣ эмоционального соответствія дѣйствія, но въ болѣе глубокомъ и важномъ ритмическомъ смыслѣ. И ча-

сто даже взыскательный въ музыкальномъ отношеніи зритель прощаетъ ему эту чудовищную музыку, такъ какъ не слышитъ мѣстъ, но скользить вслѣдъ за нимъ по ритмамъ зрѣлища, не замѣчаетъ отдельныхъ кусочковъ мозаики, но отзывается лишь на ритмику ея звукового узора.

Кинематографический аккомпаниментъ научилъ современного человѣка плѣняться музыкой Джазбанда — музыкой звука разыгранного и нанизанного на ниточки ритмовъ. Искусство музыки въ сколько-нибудь серьезному смыслѣ, разумѣется, такъ же не имѣть никакого отношенія къ кинематографу, какъ искусство живописи, но въ музыкѣ кинематографъ ищетъ какой-то крайне необходимый ему звуковой и ритмической материалъ. Нѣтъ ничего болѣе ложнаго, чѣмъ называть кинематографъ нѣмымъ. Безъ звука, безъ слышимаго ритма онъ не существуетъ, не доходитъ до зрителя, и зритель воспринимаетъ его только тогда, когда и видѣтъ его и слышитъ. Это, конечно, подчеркиваетъ обостренно ритмическую натуру кинематографа, значитъ и механическую вмѣстѣ съ тѣмъ, потому что ритмъ — единственный голосъ механическихъ силъ и неорганическаго міра.

Театръ живетъ жизнью словъ, звукомъ и ритмомъ человѣческой рѣчи. И даже бессловесный механический театръ не менѣе словесно выразителенъ, потому что мимика не есть отказъ отъ слова, а только подразумѣваніе слова, и мимической разговоръ, это все же разговоръ (съ другимъ или съ самимъ собой), а не что-либо иное, и часто даже особенно напряженный разговоръ. Мимическая рѣчь, это рѣчь непроизнесенныхъ или непроизносимыхъ словъ, и мы знаемъ, насколько могутъ быть краснорѣчивѣ таکія слова словъ произнесенныхъ и произносимыхъ. Мимический театръ можетъ быть сопровождаемъ музыкой только специально для него написанной, ибо только такая музыка можетъ быть соотвѣтственной его скрыто словесному содержанію, болѣе важному въ данномъ случаѣ, чѣмъ содержаніе ритмическое. Пантомима, балетъ не могутъ идти подъ «чужую» музыку. Напротивъ, вошло въ обычай исполнять такъ называемые пластические танцы (Айседора Дункань и прочіе) подъ откуда угодно заимствованную музыку, потому что берется здѣсь только ея ритмическое содержаніе. Оттого пластические танцы ближе къ ритмическимъ упражненіямъ Далькроза, къ акробатикѣ, къ цирку, чѣмъ къ балету, пантомимѣ,

театру. Кинематографъ, въ свою очередь, ближе къ этой группѣ ритмическихъ анти-искусствъ, чѣмъ къ словесному или безсловесному театральному дѣйствію.

Зритель кинематографа ни на одну минуту не заблуждается въ томъ, что фигуры экрана не говорятъ. Онъ не воображаетъ за нимъ никакихъ словъ и не видить въ томъ надобности. Любопытно что надписи экрана въ огромномъ большинствѣ случаевъ составлены не въ драматической формѣ, но въ повѣстовательной. Онъ разсказываютъ о томъ, что происходитъ, въ третьемъ лицѣ, онъ говорить не за актеровъ, а за зрителя. Диалоги въ надписяхъ встречаются чрезвычайно рѣдко, составители ихъ избѣгаютъ и монологовъ. Нерѣдки за то разсужденія « со стороны » — подсказыванія морали, эмоцій, оцѣнки, — все то что въ театральномъ зрѣлищѣ выпадаетъ на долю отнюдь не актера, но зрителя. Если бы понадобилось передѣлать для кинематографа театральную пьесу, ее пришлось бы прежде всего пересказать въ надписяхъ въ повѣстовательной формѣ.

Такія передѣлки, какъ всѣ знаютъ, не часты и вообще говоря неудачны. Въ театральномъ репертуарѣ нѣтъ никакихъ преимуществъ для кинематографа по сравненію съ повѣстовательной прозой. То и другое служить лишь материаломъ для специальной обработки. Драматическая форма не облегчаетъ, но затрудняетъ дѣло. Для надписей приходится превращать ее сначала въ форму повѣстовательную. Къ литературному повѣстованию и къ историческому повѣстованию кинематографъ обращается гораздо болѣе охотно, чѣмъ къ драмѣ или комедіи. Въ его обращеніи къ художественной прозѣ, — такъ-же какъ въ его стремленіи вопреки всякой логикѣ походить на театръ, оказывается также его малая осознанность, шаткость всей его современной позиціи.

IV.

Современный кинематографъ усиленно питается литературой. Пища, однако, которой усвоить онъ никакъ не можетъ. Почти всегда это приводитъ кинематографъ только къ профанациіи литературы и къ бесмысленной растратѣ всѣхъ своихъ собственныхъ возможностей. Ни одна литературная вещь не обходится въ кинематографѣ

безъ сильного искаженія. Главной причиной этого является индустриальная практика. Мировое кинематографическое дѣло находится въ рукахъ американцевъ, и Европа не въ состояніи съ ними конкурировать. Законы массового потребленія сказываются здѣсь очень наглядно. Въ Америкѣ такъ велико число экрановъ, что какой-нибудь новый фильмъ Парамаунтъ или Фоксъ уже окупается и даетъ положенную прибыль, пропутешествовавъ по одному американскимъ экранамъ. Въ Европу можетъ онъ быть данъ поэтому по очень низкой цѣнѣ, по такой, по какой не могутъ продавать свой «товаръ» европейскія фирмы. Именно поэтому для какогонибудь провинциального экрана въ Германіи или Италии продукція самыхъ «дорогихъ» американскихъ фирмъ оказывается самыми дешевымъ товаромъ. Американская конкуренція почти совершенно уничтожила недавно еще цвѣтушую итальянскую кинематографическую промышленность, а немецкое какъ держится лишь благодаря относительно большому числу экрановъ въ Германіи (ихъ здѣсь около 25.000, тогда какъ въ Италии около 4.000), а также благодаря специальному охранительнымъ мѣропріятіямъ государства.

Америка предписываетъ законы кинематографіи, и еще какая при этомъ Америка! Отнюдь не талантливый Холивудъ, не Бостонъ и даже не Нью-Йоркъ, но Америка массового потребителя, провинциальная, обывательская, сѣрая, смертельно скучная Америка, та самая, которая, какъ говорятъ, на Холивудскихъ дѣловыхъ картахъ, показывающихъ распространеніе экрана, обозначается весьма выразительно: Никсъ Ландъ — страна глупцовъ. Вкусы и привычки «страны глупцовъ» господствуютъ такимъ образомъ надъ американскимъ кинематографическимъ дѣломъ, а черезъ него и надъ европейскимъ зрителемъ. Что же касается морали, то, какъ известно, ни одинъ фильмъ не можетъ получить массового распространенія въ Америкѣ, не имѣя санкції Федерации женскихъ клубовъ. Благодаря финансовому и техническому могуществу американской кинематографіи эта почтенная Федерация благонамѣренныхъ дамъ устанавливаетъ теперь образцовую мораль для всего міра.

Что же удивительного въ томъ, что ходячая кинематографическая мораль (мораль «страны глупцовъ» и женскихъ клубовъ) — прямо чудовищна. Это вообще одно

изъ самыхъ странныхъ впечатлѣній современаго кинематографа. Почти послѣ каждого посѣщенія кинематографа невольно спрашиваешь себя съ удивленіемъ, какъ можетъ вынести эту невѣроятную пошлость самый средній, самый обыкновенный зритель, самый скромный и немудрящій человѣкъ съ улицы Рима, Парижа или Берлина — дактилографка, прикащикъ, мелкій служащий! Кинематографическая мораль, кинематографическое представление о жизни несомнѣнно гораздо ниже той морали и того взгляда на жизнь, которымъ учить каждого его собственный будничный обиходъ. Такихъ мнѣній не выскажетъ онъ, не встрѣтить ихъ въ случайяхъ жизни, разсказанныхъ ему кѣмъ-нибудь, не прочтеть ихъ въ газетной хроникѣ. А если, вмѣсто кинематографа, войдетъ онъ въ какой-нибудь самый простенький театръ,—на какую тогда сравнительную героическую высоту сразу поднимется мораль самой заурядной пьесы.

Одно изъ правилъ кинематографической индустрии — не касаться никакихъ серьезныхъ темъ. Но когда кинематографъ все же случайно касается ихъ, то положительно диву даешься, на кого можетъ быть расчитанъ подобный вздоръ. Въ наше время очень глубокихъ и очень трагическихъ соціальныхъ противорѣчій какъ, напримѣръ, изображены въ кинематографѣ отношенія труда и капитала? Зритель только что прочитавшій на газетномъ листѣ о гигантскихъ потрясеніяхъ, которыми грозитъ конфликтъ каменноугольныхъ рабочихъ и хозяевъ въ Англіи, переводить глаза на экранъ и здѣсь немедленно видѣть фальшивую поучительную исторію прилежнаго рабочаго, который въ награду за свою добродѣтель становится капиталистомъ и женится на хозяйствской дочкѣ. На такія вещи стыдно смотрѣть, и, однако, онѣ показываются изъ вечера въ вечеръ въ рабочихъ кварталахъ современныхъ большихъ городовъ!

Чтобы уйти нѣсколько отъ воображенія страны глупцовъ и женскихъ клубовъ кинематографъ обращается къ литературѣ. Но литературное произведеніе должно опять таки быть подано въ такомъ видѣ, чтобы оно могло отвѣтствовать психикѣ массового американского потребителя и выдержать цензуру моральныхъ американскихъ дамъ. Литература разумѣется съ трудомъ выдерживаетъ и тотъ и другой критерій. Самъ Диккенсъ при этихъ условіяхъ по-

кажется и слишкомъ сложнымъ и слишкомъ дерзостно имморальнымъ.

Европейская кинематографія вообще говоря свободнѣе американской, хотя и она заражена американизмомъ въ самомъ дурномъ значеніи этого слова. Надо надѣяться, что бѣда американства можетъ быть временная ; быть можетъ такъ или иначе освободится Европа отъ американской фильмовой гегемоніи и сама Америка найдетъ иныхъ возможности, кромѣ обслуживанія страны глупцовъ и иска-нія одобреній у Федераціи женскихъ клубовъ. Низко-пробная « идеологія » современного кинематографа сама по себѣ явленіе очень интересное и важное, но это скорѣе явленіе общественное и экономическое (низкое качество массового рыночного товара въ индустрії). Оно все же мало что даетъ для пониманія кинематографа съ точки зрењія искусства и анти-искусства. Любопытнѣе раз-смотрѣть тѣ искаженія литературныхъ вещей, которые обусловлены не только сбытомъ въ странѣ глупцовъ и цензурой американскихъ женскихъ клубовъ, но самой природой кинематографа.

Возьмемъ какой-нибудь простѣйшій романъ, романъ приключеній, свободный отъ какихъ бы то ни было психологическихъ сложностей, напримѣръ, « Три мушката-ра ». Казалось бы, что можетъ быть кинематографичнѣе ! Однако, и « Три Мушката » въ фильме подвергается усиленной и своеобразной обработкѣ. Во первыхъ, тщательно удаленъ печальный элементъ — мадамъ Бонассе отнюдь не умираетъ, отравленная злой Миледи, какъ слѣдовало бы по роману Дюма. Во вторыхъ, центромъ всего фильма сдѣланъ эпизодъ, не особенно даже подробно рассказалый самимъ авторомъ — по-ѣздка Д'Артаньяна въ Англію за бриллантами королевы подаренными Букингаму. Здѣсь кинематографъ какъ бы раззвѣтаетъ, попавъ наконецъ, на свою излюбленную почву — погоня, скачка, преслѣдованія, препятствія, перелѣзанія черезъ стѣны, прыжки въ воду съ высоты и т. п. Введенъ цѣлый рядъ приключеній, которыхъ вовсе нѣть у Дюма, и тотъ акробатическій способъ, которымъ Д'Артаньянъ — Дэгласъ Фербенксъ попадаетъ въ Парижъ, несмотря на всѣ заставы Ришелье, конечно и не снился никогда старому французскому романисту.

Характеръ всѣхъ этихъ передѣлокъ и вставокъ очень знаменателенъ. Изъ образцовѣйшаго романа « плаща и

шпаги» сдѣланъ весьма характерный акробатический фильмъ. Въ первыхъ сценахъ Дэглассъ Фербенксъ играетъ Д'Артаньяна сильно комически, очень напоминая своего же «Багдадского Вора». Какъ хороший кинематографический исполнитель, онъ понимаетъ, что кинематографическая сценичность требуетъ уклона, если не въ акробатику, то въ клоунаду. Но какъ только является поводъ, начинается и акробатика. Можно ли было сомнѣваться, что и этотъ фильмъ не обойдется безъ «бѣга по крышамъ», пусть непредусмотрѣнного у Дюма! Такъ и есть: «при первомъ удобномъ случаѣ» Д'Артаньянъ и мадамъ Бонасье оказываются на крышѣ, и здѣсь именно и происходитъ ихъ любовное объясненіе.

Этотъ «бѣгъ по крышамъ», эти прыжки и лазанія, эти погони и скачки, — все это какая то глубокая кинематографическая необходимость. Литературная вещь, въ которой совсѣмъ нѣть ни для чего этого повода, едва ли годится вообще для передѣлки въ фильмъ. Впрочемъ иной смѣлый постановщикъ не задумывается ихъ ввести. Представьте, что не взирая на цензуру женскихъ клубовъ, кто нибудь рѣшился бы поставить Мадамъ Бовари. Что же! Пришлось бы изобразить Родольфа и Эмму скачущими верхомъ черезъ сельскія изгороди, и пожалуй бѣднаго Леона заставили бы проникать въ мирный руанскій отель по водосточной трубѣ и черезъ слуховое окно. А главное пришлось бы закончить повѣсть нѣсколько иначе, чѣмъ закончилъ ее Флоберъ, напримѣръ такъ: Эмма исцѣляется отъ болѣзни медицинскимъ искусствомъ своего мужа и примиряется съ нимъ надъ кроваткой спящей дочери. Это не шутка. Надо понять, что профанація такой вещи какъ мадамъ Бовари въ кинематографѣ дѣйствителъно и избѣжна. Художественная литература и фильмъ несовмѣстны другъ съ другомъ по самой своей сущности.

V.

Передѣлки повѣстовательной прозы для театра иногда очень законны, такъ какъ есть прозаики, воображавшіе и видѣвшіе сюжетъ чисто сценически, напримѣръ, Достоевскій. Но передѣлка романа или разсказа для кинематографа, это такая же «квадратура круга» какъ передѣлка его для цирка. И это говорится вовсе не для того,

чтобы « унизить » циркъ или кинематографъ. У каждого изъ этихъ зрѣлищъ своя особая стезя и свое назначеніе. Изъ передѣлокъ выходитъ только лже-театральный кинематографъ, то есть кинематографъ, стоящій ниже уровня самаго посредственнаго театра и не имѣющій, кромѣ того, никакихъ кинематографическихъ заслугъ.

Художественная литература — это искусство обращающееся къ воображенію. Безъ воображенія не только нельзя написать порядочнаго романа, но нельзя и прочитать его. Умѣть читать, значитъ прежде всего умѣть воображать. Недаромъ учимся мы читать на геніальной дѣтской литературѣ, на воображеніи Гrimма и Аnderсена, Жюль Верна, Дефо и Стивенсона. Кинематографъ же какъ разъ стремится замѣнить воображеніе изображеніемъ ; тамъ гдѣ надо было бы разскажать, онъ хочетъ показать. Но вѣдь вся настоящая художественная литература основана именно на непоказуемомъ. Развѣ найдется мальчикъ съ увлеченіемъ прочитавшій пять — шесть разъ подрядъ « послѣдняго изъ Могиканъ », который не былъ бы разочарованъ, поглядѣвъ недавно шедшій подъ этимъ названиемъ фильмъ ? Фильмъ былъ очень добросовѣстный въ смыслѣ костюмовъ эпохи, въ смыслѣ снимковъ съ натуры въ соответствующихъ мѣстахъ. Но въ то время какъ самое имя Чингаччука или Ункасс преисполняеть трепетомъ дѣтскія сердца, — что могутъ внушить эти дѣловитые снимки, стремящіяся повторить выдумку, а на самомъ дѣлѣ только поддѣлывающіе нѣкое какъ бы дѣйствительное происшествіе ? Увы, поэзія и не почевала здѣсь ! Ароматовъ дѣственного лѣса больше на страницахъ испреланной книжки, чѣмъ въ этихъ быстро бѣгущихъ одна за другой фотографіяхъ, такъ удивительно однообразныхъ во всемъ своемъ разнообразіи и всегда такъ похожихъ... только на фотографію. Языкъ фотографіи, это « полицейскій » языкъ, языкъ документа и протокола, и очень трудно заставить этотъ языкъ повторять разсказы великихъ повѣстований.

Кинематографъ созданъ для людей безъ воображенія. Почему то одно время называли его « иллюзіоннымъ театромъ ». На самомъ дѣлѣ нѣтъ кажется менѣе иллюзорнаго зрѣлища. Въ чёмъ иллюзія ? Въ томъ, что, « кажется будто это живые люди » или, « что кажется будто они говорятъ » ? Но несомнѣнно никогда ни одной минуты это никому не кажется, и нѣтъ ничего менѣе живого вообще

чѣмъ кинематографической или фотографической человѣкъ. Ни для какой другой иллюзіи кинематографъ (или фотографія вообще) не оставляетъ мѣста, благодаря своей протокольной точности, фактичности, подробной описательности. И видѣть Раскольникова на сценѣ театра жутко, потому что не было, нѣтъ и не можетъ быть гражданина вселенной Родиона Раскольникова, есть только житель невѣдомаго города — вѣчный образъ Раскольникова. Но на театральной сценѣ Раскольниковъ все же говоритъ и живетъ словами Достоевскаго, онъ обрѣтаеть въ этомъ новое иллюзорное бытіе, бытіе роли, бытіе рождающагося въ актерѣ театральнаго персонажа. Въ кинематографѣ фотографически подробно показанный, движущійся но не живой Раскольниковъ не оставляетъ никакихъ иллюзій, за нимъ нѣтъ геніальныхъ словъ Достоевскаго и тогда значитъ за нимъ нѣтъ и вообще рѣшительно ничего. Его «преступленіе» — лишь фотографически запротоколированный случай изъ газетной уголовной хроники.

Въ кинематографическомъ движениі, съ другой стороны, все возможно и ничего не удивительно. Въ такъ называемыхъ «комическихъ» американскихъ фильмахъ происходятъ невѣроятныя вещи, напримѣръ, люди, преслѣдуемые стадомъ львовъ, бѣгутъ по крышамъ вагоновъ быстро мчащагося поѣзда, цѣпляются на всемъ ходу за висячій мостъ, и такъ далѣе. Все это результатъ какого-то оптическаго и фотографическаго фокуса, расчитанаго на что угодно, только не на воображеніе. Въ центрѣ художественной литературы стоитъ человѣкъ, и воображеніе, къ которому взываетъ она, проникнуто тѣмъ антропоморфизмомъ, которымъ проникнуто все вообще творческое усиленіе античнаго, пре-европейскаго и европейскаго человѣка. Для этого воображенія необычно все то, что выходитъ за предѣлы чисто человѣческаго опыта. Но статика и динамика кинематографическаго человѣка (то есть фотографическаго снимка) можетъ быть построена совершенно иначе, можетъ нарушить по волѣ оптическаго фокуса всѣ законы человѣческой статики и динамики. «Антропоморфическому» воображенію здѣсь дѣлать нечего, оно бездѣйствуетъ, такъ какъ явленіе выходитъ за его предѣлы.

Во всякомъ спорѣ, во всякой акробатикѣ есть приближеніе человѣка въ механическому аппарату. Но приближеніе все же относительное, акробатъ остается жи-

вымъ человѣкомъ и оттого зритель очень остро чувствуєть малѣйшій выходъ акробата за предѣлы нормальныхъ человѣческихъ силъ и скоростей. Прыжокъ на высотѣ нѣсколькихъ метровъ захватываетъ у зрителя дыханіе, и тотъ же зритель совершенно спокойно взираетъ на человѣка летящаго на аэропланѣ на высотѣ нѣсколькихъ тысячи метровъ. Авиаторъ летить вѣдь не средствами человѣческаго аппарата (какъ летить птица средствами своего птичьаго аппарата), но средствами аэроплана. Летательный опытъ аэроплана находится за предѣлами нашего антропоморфического воображенія. Границы опыта машины намъ неизвѣстны по нашему собственному опыту и оттого въ томъ что дѣлаетъ машина нѣть ничего небыкновенного. Мы легко допускаемъ, что здѣсь все возможно. Человѣкъ, летящій на аэропланѣ, находится какъ бы на попеченіи нечувствуемыхъ нами машинныхъ возможностей. Подобно этому человѣкъ на экранѣ кинематографа находится на попеченіи нечувствуемыхъ нами въ нашемъ собственномъ опыте оптическихъ возможностей. Никакіе его выходы за нормальные предѣлы человѣческихъ силъ и скоростей не удивляютъ и не волнуютъ насть. Воображеніе наше молчитъ.

Но если воображеніе наше молчитъ въ какомъ-нибудь акробатически-комическомъ фільмѣ, почему бы вдругъ могло оно заработать въ фільмѣ сантиментальному или литературному? При всемъ нашемъ желаніи «настроиться иначе», мы не въ состояніи этого сдѣлать. Пусть салонный герой во фракѣ склоняется надъ молодой девушки, изображая на своемъ лицѣ печаль и страсть по готовымъ рецептамъ театра, — мы отлично знаемъ, что это лишь проекціонная тѣнь, готовая по волѣ оптическаго фокуса черезъ яѣсколько мельканій спрыгнуть на улицу съ третьаго этажа или вскочить на ходу въ бѣженію несущійся автомобиль. И если этого не случается, развѣ не начинаетъ зритель немножко скучать, и, главное, развѣ не правъ онъ въ своемъ нетерпѣніи, свидѣтельствующемъ о какомъ-то инстинктивномъ пониманіи имъ подлинныхъ основъ кинематографа?

Этого пониманія къ сожалѣнію лишены многія попытки «облагородить» кинематографическое представленіе. Привлеченіе лучшихъ, великихъ актеровъ театра не приводить рѣшительно ни къ чему: Дузе, сама Дузе не имѣла успѣха въ снятомъ съ нея фільмѣ! Нѣмецкая кине-

матографія, утомленная пошлость американскихъ нравоучительныхъ эпизодовъ, пытается внести въ фильмъ « художественность » (Тѣни, Кабинетъ Доктора Калигари) или глубокомыслѣе (постановки съ Эмилемъ Яннингсомъ). Но « художественность » въ лучшемъ случаѣ сводится къ подражанию живописи (графикъ въ Die Schatten), а глубокомыслѣе приводитъ къ чепухѣ « кинематографического мистицизма », еще болѣе невыносимо пошлого, чѣмъ любой американскій фильмъ.

Болѣе серьезны нѣкоторыя тщательныя историческія инсценировки, напримѣръ Fredericus Rex или американские фильмы изъ исторіи Дальніаго Запада, а также сказки, — « Нibelунги », « Робинъ Гудъ », « Багдадскій Воръ ». Во всѣхъ этихъ наиболѣе удачныхъ вещахъ чисто театральные элементы сведены до минимума, подражанія театру здѣсь чисто нѣть. Литературныя данныя также играютъ роль скромную — канва литературная наимѣчена безъ всякихъ претензій. Здѣсь главное въ постановкѣ, въ операторѣ и въ фотографѣ, и благодаря этому кинематографъ начинаетъ, наконецъ, здѣсь принадлежать самому себѣ и своимъ собственнымъ средствамъ. Битвы исторіи и чудеса сказокъ, одинаково несбыточныя для всякаго другого человѣческаго зрѣлища, разрѣшаются онъ приемами чисто оптическими, то есть спѣциально и заново имъ и въ немъ найдеными. И какъ разъ наиболѣе слабая сторона такихъ постановочныхъ фильмовъ это ихъ городьба, когда она пытается быть не кинематографически-находчивой, а исторически и эстетически вѣрной. Роскошь костюмовъ также для кинематографа вещь излишняя. Надо сказать, что фальшивъ сценическаго переодѣванія въ кинематографѣ гораздо болѣе замѣтна, чѣмъ въ театрѣ. Это понятно, потому что фотографический аппаратъ точноѣре протоколируетъ видимость нежели нашъ глазъ. Какъ невыносимо фальшивы, напримѣръ, всегда фотографические снимки съ театра ! Въ кинематографѣ это менѣе замѣтно лишь вслѣдствіе быстраго мельканія снимковъ одного за другимъ.

VI.

И все таки, несмотря на все вышесказанное, почти всегда пріятно посмотреть кинематографъ ! И въ этой простѣйшей и кратчайшей формулѣ заключается огромный-

шее завоевание анти-искусства. Пряятно смотреть въ кинематографѣ чаще всего не то, что показывается съ такой затратой всяческой энергіи, но самая обыкновенная, самая незамѣтная вещь. Пряятны иногда просто идущіе люди, особенно люди идущіе по лѣстницѣ. Всегда весела улица, заманчивъ порть, увлекательны строго согласованныя движенія людей пускающихъ въ ходъ аэропланъ. Всегда съ удовольствіемъ видишь катящійся автомобиль или отчаливающій пароходъ. Движеніе человѣка само по себѣ оказывается достаточно интереснымъ зрителемъ. И это совсѣмъ не въ томъ смыслѣ, въ какомъ у артиста театра можетъ быть плѣнительный жестъ (жестъ рукъ у Дузе). Тамъ важенъ значущій жестъ, здѣсь выступаетъ на первый планъ движеніе независимо отъ того, что оно значитъ. Лишь бы оно было подчинено нѣкоторому ритму.

Человѣческая сторона движенія сама по себѣ играетъ малую роль. Движеніе механизма машины можетъ быть источникомъ совершенно того же удовольствія, которое доставляетъ движеніе человѣка. Представьте театръ, на сценѣ котораго нѣсколько мгновеній вниманіе зрителей занято исключительно движеніемъ машины. Нелѣпость! Но въ кинематографѣ это случается сплошь и рядомъ, и здѣсь это нисколько не нелѣпость. Отличіе театра отъ кинематографа сказывается въ этомъ особенно ясно. Въ природѣ здѣсь удается лучше всего то, въ чемъ есть движеніе и отчетливый ритмъ—не чаща лѣса, но уходящія одна за другую цѣпи горъ. И особенно, конечно, воды — прибой волнъ, теченіе рѣкъ; младенчество кинематографа недаромъ началось съ водопадовъ — лѣтъ пятнадцать лѣтъ тому назадъ показывали ихъ безъ конца.

Все это, и въ человѣкѣ, и въ механизме, и въ природѣ то, что выражаетъ себя въ ритмѣ. Въ человѣкѣ и въ природѣ кинематографъ силенъ тогда, когда является намъ «аппаратная» стороны человѣка и «моторная» свойства природы. По отношенію къ механическимъ ритмамъ человѣческихъ движений кинематографъ играетъ ту самую роль, которую играетъ живопись по отношенію къ предметности. Яблоки на холстѣ Сезанна мы реализуемъ съ вдесятеро большей силой чѣмъ реальная яблока, оттого что Сезаннъ возводитъ насъ за собой на высший уровень реализаціи вещей. Подобно этому, тѣ самые механические ритмы простѣйшихъ движений, которые въ жизни не вы-

зывали бы въ насть никакихъ ощущеній, доставляютъ намъ огромное удовольствіе въ кинематографѣ, потому что воспринимаются нами сквозь болѣе остро и болѣе зорко уловившій ихъ глазъ движущейся фотографіи. Чтобы намъ было легче усвоить ихъ, намъ приходитъ на помощь музыкальный аккомпаниментъ.

Можно дѣлать какіе угодно упреки современности, признавать ее обѣдившей живописно, архитектурно, литературно даже, но нельзя отказать ей въ небываломъ ритмическомъ богатствѣ обыденной жизни. Всякое управление механическимъ аппаратомъ есть уже ритмическое дѣйствіе, потому что живущая по строгимъ ритмическимъ законамъ машина не допускаеть неритмического къ себѣ отношенія, — она тогда просто отказывается служить. Можно очень различными способами и очень произвольными движениями развести костеръ въ лѣсу, но открыть газъ въ кухнѣ, зажечь электрическую лампу, заставить дѣйствовать лифтъ, можно только однимъ опредѣленнымъ движеніемъ, имѣющимъ свою ясную ритмическую формулу. Великой ритмической школой является улица современного большого города, гдѣ уже исчезло такое относительно неритмическое существо, какъ лошадь, гдѣ пѣшеходъ, человѣкъ терпимъ лишь постолько, поскольку способенъ онъ примѣниться къ механическимъ ритмамъ и уподобиться безошибочно дѣйствующему аппарату. Всѣ тѣ въ современности, кто имѣютъ отношеніе къ механизированному труду и къ механическимъ средствамъ передвиженія перевоспитываются глубоко въ своемъ ощущеніи времени. Ощущеніе закономѣрной раздѣленности времени у нихъ столь же сильно, сколь было сильно ощущеніе закономѣрно раздѣленаго пространства у эпохъ создавшихъ великую живопись и архитектуру. То были по истинѣ статическая эпохи, а мы живемъ, повидимому, на зарѣ динамическихъ цикловъ, и въ этомъ безлѣмощность наша во всякой «статикѣ» — прежде всего въ искусствѣ распределющемъ вѣсъ въ пространствѣ — въ архитектурѣ. Мы вновь какъ бы стали бездомны и потеряли совершенно чувство неподвижной стѣны (картина) и чувство взаимоотношенія неподвижныхъ вещей (убранство комнатъ). Изъ повелителей пространства мы превратились въ рабовъ времени.

Мы превратились въ рабовъ времени, потому

что добываемыя нами новые скорости создаютъ новые раздѣленности времени, новые ритмы неорганическаго порядка, ичеловѣческаго свойства и, слѣдуя имъ, мы все же не перерождаемся органически, но только перевоспитываемся. Мы не овладѣваемъ ими (птица владѣть своимъ крыломъ, но это только игра словъ, что авторъ владѣть своимъ аппаратомъ), но приспособляемся къ нимъ и подчиняемся имъ. Не только рабочий, прожившій цѣлый день однимъ движеніемъ съ движениемъ станка, но и любой пассажиръ метро, доставившій себя изъ дома къ мѣсту службы и назадъ, съ точностью и машинальностью письма, доставляемаго пневматической почтой, — оба они ритмически новые люди. Ритмически посвящены всѣкій, кого по гладкому асфальту улицы мчить стучашій своимъ стальнымъ сердцемъ моторъ. У этого посвященнаго — какимъ вѣтромъ ритма жизни, какимъ отсталымъ, какимъ неурегулированнымъ бѣніемъ бѣется его собственное бѣдное человѣческое сердце, годное лишь на то, чтобы измѣрить конечность и относительность органическаго движенія въ *regretum mobile* механическихъ силъ!

Новый ритмический человѣкъ — естественный зритель кинематографа. Инстинктивно влечетъ его къ себѣ эта механическая проекція живой жизни. Освобожденные отъ органическихъ элементовъ бытія, отъ осознательности и вѣсомости, отъ красокъ и голосовъ живой жизни, отчетливы, здѣсь и властны ритмы человѣческаго аппарата. Тѣснѣе и логичнѣе связываются они съ ритмами машинъ управляющими, пока еще только отчасти, современной жизнью. Въ силу того быть можетъ, при всѣхъ недостаткахъ кинематографа, современная жизнь находится въ немъ несравненно болѣе вѣрное отраженіе и выраженіе чѣмъ въ современному искусствѣ.

Жизнь эта, съужая кругъ дѣятельности искусствъ, атрофируя чувство архитектуры, упраздняя литературу, загоняя живопись въ пустынныя залы никому не нужныхъ выставокъ, побѣждая театръ вліяніемъ экрана, цирка и мюзикъ-холла, рождаетъ однако и самую надобность въ анти-искусствѣ, захватываетъ энергию человѣка вновь созданными видами рекреаций-кинематографомъ, спортомъ, газетой. Мы живемъ въ переходное время, мы только едва успѣли переступить за грань великой европейской цивилизациі XVII — XIX вѣка и оттого мы еще полны воспоми-

наніемъ объ искуствахъ, подчасъ заглушающихъ первый лепетъ анти-искусства. Духъ эпохи создалъ то могущественное притяжение кинематографа, которое никто не решится отрицать и которое уже сдѣлало его очень замѣтнымъ соціальнымъ феноменомъ. Внутренняя природа кинематографа не осознана, однако, ни тѣми, кто идетъ къ нему, ни тѣми, кто въ наше время руководить имъ. И, несомнѣнно, будущее кинематографа зависить исключительно отъ осознанія имъ своихъ возможностей, то есть отъ его полного разрыва съ искусствомъ и развитія въ немъ элементовъ анти-искусства.

VII.

Кинематографъ находится въ очень дурныхъ рукахъ, въ рукахъ людей не понимающихъ, за единичными исключеніями, ни искусства, ни анти-искусства. Въ энергіи кинематографического дѣла наблюдается поэтому сейчасъ нѣкоторая заминка, оно какъ бы уперлось въ тупикъ. Напрасно конкурируюшія американскія компаніи соперничаятъ другъ съ другомъ миллионами истраченныхъ на постановку долларовъ, тысячами статистовъ, километрами городьбы. Эти очень вульгарные способы воздействія на зрителя имѣютъ свой предѣлъ, какъ всякия чисто количественные достиженія. Вмѣстѣ съ тѣмъ не видно никакой внутренней работы надъ кинематографомъ. Невѣжественные люди, вершащіе кинематографической дѣла, бросаютъ миллионы на безмысленное богатство постановокъ и не затрачиваютъ ничего на поиски новыхъ путей, на работу опытную, лабораторную, студийную.

Здѣсь сказывается обычный жалкій расчетъ индустріи широкаго потребленія. Она не заинтересована въ качествѣ и легко ставить подъ угрозу свою продукцію, не замѣчая, что потребитель уже переросъ навязываемый ему товаръ. Такое чисто хищническое отношение къ кинематографу должно привести его къ преждевременной старости, къ раннему захирѣнію. Въ своей безграмотной специальной прессѣ практики кинематографіи любятъ говорить объ «искусствѣ экрана», но сами они, конечно, ни въ грошъ не цѣнятъ это искусство, заботясь только о томъ, какъ бы подкрасить свой зрѣлицыній товаръ замашками плохого

театра или профанаціей литературныхъ произведеній. Среди такихъ вершителей своей судьбы кинематографія не найдетъ, конечно, никогда для себя мецената, подобнаго тѣмъ, которые такъ много сдѣлали для театра. Созданіе новой кинематографіи въ очень сильной степени зависитъ отъ экономической бстановки кинематографическаго дѣла, и эта обстановка такова, что она не внушаетъ особаго оптимизма. Первый и самый важный шагъ европейской кинематографіи, это освободиться отъ гегемоніи вульгарнѣйшихъ продуктовъ американской промышленности. Но это, повидимому, возможно лишь при вмѣшательствѣ государства. Государственный протекціонизмъ несетъ съ собой, однако, другую опасность, которую изобличаетъ кинематографический опытъ въ Совѣтской Россіи. Совѣтская Россія, благодаря своей изоляціи, находится, казалось бы, въ выгодномъ положеніи, не будучи обязана ни къ приему продукціи расчитанной на «страну глупцовъ», ни къ подчиненію цензурѣ американскихъ дамскихъ клубовъ. Но тамъ другая бѣда — государственная власть прежде всего желаетъ видѣть въ кинематографіи средство политической пропаганды. И, разумѣется, для антиискусства такой подходъ столь же по существу безплоденъ, сколько безплоденъ онъ и для искусства.

Но если все таки новой кинематографіи суждено было бы осуществиться, уже теперь можно было бы намѣтить ея нѣкоторыя черты, вытекающія изъ самой сущности кинематографа. Кинематографъ долженъ покончить съ тѣмъ заблужденіемъ, что можетъ найти точку опоры въ искусствахъ, по существу ему чуждыихъ и даже противоположныхъ — въ живописи, въ театрѣ, въ литературѣ романа. Всякая уступка, сдѣланная въ этомъ смыслѣ, всякое заимствованіе отзывается уменьшениемъ чисто кинематографическихъ возможностей. Надо разъ навсегда отказаться отъ инсценировки литературныхъ сюжетовъ или же искать способа интерпретировать нѣкоторые изъ нихъ въ совершенно иномъ, неизнаваемомъ планѣ, для чего необходимъ, разумѣется, какой-то совершенно особый талантъ. Вообще же говоря, кинематографъ долженъ пытаться своимъ собственнымъ репертуаромъ, базирующимся исключительно на современности, потому что только ея ритмы отвѣчаютъ кинематографическимъ ритмамъ, способнымъ увлечь зрителя. Въ этихъ сюжетахъ можетъ быть допущена самая большая простота при

очень большой ритмической зрительной сложности. (Изъ кинематографическихъ постановщиковъ лучше всего это понято Чарли Чаплинымъ).

Надо понять, что видимость, зрительное богатство, насыщенность зрительными впечатлѣніями, ихъ новизна, ихъ подходъ къ зрѣлищу самой жизни — въ кинематографѣ въ се. И это отнюдь, конечно, не въ смыслѣ внесенія въ кинематографъ картиности, живописности, приближающей его къ графическому или живописному искусству. Статика этого искусства не можетъ сдѣлаться серьезной цѣлью кинематографа, потому что онъ до конца динамиченъ и только въ динамикѣ можетъ раскрыть всѣ свои возможности. Не творчество художника-живописца нужно для кинематографа, но выдумка изобрѣтателя — съемщика. Чисто оптической сторонѣ должно быть возвращено то первое мѣсто въ кинематографѣ, которое узурпировано сейчасть театральными вліяніями.

Лучшій кинематографический исполнитель и сейчасъ это тотъ, кто сценически ощущаетъ себя больше механическимъ аппаратомъ, чѣмъ человѣкомъ, какъ Чарли Чаплинъ и Дэгласъ Фербенксъ (что не мѣшаетъ ему быть въ жизни человѣкомъ въ полномъ смыслѣ слова, какъ не мѣшало это никогда быть глубокими людьми клоунамъ, акробатамъ и жонглерамъ). Если кинематографъ долженъ быть въ какомъ-то смыслѣ драмой или комедіей (какъ можетъ быть драмой или комедіей сама жизнь), то онъ можетъ быть только оптически-ритмической драмой или комедіей.

Въ изобрѣтательности и новизнѣ кинематографического взгляда на вещи достигнуто многое (иначе вообще никто бы не ходилъ въ кинематографѣ). Но многое, разумѣется, еще можетъ быть достигнуто и притомъ только чисто опытнымъ путемъ. Динамическое восприятіе мира можно облегчить каждому изъ насъ понять съ помощью снимковъ съ аппарата, съ той или иной скоростью движущагося въ пространствѣ. И это соотвѣтствовало бы какой то правдѣ въ современной психикѣ. Человѣкъ, катящійся въ автомобилѣ по улицѣ современной столицы, не такъ видитъ вещи, какъ видитъ ихъ человѣкъ, лѣниво блуждающій по лѣсу съ охотничимъ ружьемъ за спиною. И мы можемъ понять его душу, только заглянувъ въ это движущееся зеркало его души.

При убыстренномъ темпѣ современной жизни чело-

въкъ испытываетъ своеобразную интерполяцію зрительныхъ впечатлѣній — одно изъ нихъ не успѣваетъ уйти прежде чѣмъ смыняется другимъ. Кинематографъ могъ бы намъ показать такие примѣры раздвоенной и вообще умноженной видимости, и это несомнѣнно былъ бы его собственный путь къ изображенію душевной раздвоенности и притомъ нѣсколько болѣе дѣйствительный, чѣмъ путь объяснительныхъ надписей и условной мимики актерского лица. Но, разумѣется, все это лишь примѣры, случайные и далеко не единственны, тѣхъ оптическихъ фокусовъ, которые въ кинематографѣ возможны. Пора бы ему перестать стыдиться быть тѣмъ, что онъ и есть, то есть именно оптическимъ фокусомъ. Психическое богатство (хотя бы лишь въ одной ритмической области) нашей эпохи быть можетъ лишь и доступно передать только съ помощью оптическихъ фокусовъ. Очень замѣчательны нѣкоторыя попытки кинематографа передать сны. Здѣсь сразу кинематографъ добился значительныхъ результатовъ, которыхъ никогда не достигли ни живопись, ни театръ и лишь въ рѣдкихъ случаяхъ достигала повѣствовательная литература. Идя по этой линіи, кинематографъ могъ бы набраться смѣлости, необходимой иногда для того, чтобы опрокинуть, разять и вновь «пересоставить» дѣйствительность, воспринятую какъ сонъ на яву.

У кинематографіи есть только два пути — или оставаться жалкой пародіей на искусство, спасаемой лишь нечаянно и «само собой» вошедшими въ нее новыми элементами, или сознательно идти впередъ по линіи анти-искусства. Вліяніе кинематографа, конечно, огромно и съ точки зрењія европейской культуры XVII — XIX вѣка это вполнѣ отрицательное вліяніе. Съ нимъ борются пока только однимъ способомъ: примѣнняя цензуру. Цѣлесообразно, однако, было бы въ этомъ случаѣ бороться какъ разъ противъ цензуры: предоставленный самому себѣ кинематографъ все же не выработалъ бы той фальшивой и глупой морали, которую сдѣлалъ своею нынѣшней подцензурный кинематографъ. Ложь кинематографической морали далеко ниже всякой лжи дѣйствительной жизни.

Однако, вліяніе кинематографа, несомнѣнно разлагающее съ точки зрењія европейской культуры, не ограничивается однимъ этимъ, оно идетъ глубже. Привычка къ кинематографу убиваетъ привычку къ театру,

картина и книгъ. Воспитаніе въ анти-искусствѣ дѣлаетъ людей чужими искусству. Бороться съ анти-искусствомъ возможно лишь противопоставляя ему искусство. Борьба эта на нашихъ глазахъ происходитъ и рѣшается не въ пользу искусствъ. Мы должны это признать, независимо отъ нашихъ личныхъ симпатий и склонностей, въ которыхъ еще свободны мы, люди переходной эпохи, но въ которыхъ уже не будутъ, вѣроятно, свободны наши внуки. Кинематографъ не лучше и не хуже того, что вообще обозначаетъ начало нового культурнаго постъ-европейскаго цикла-индустриализма, врожденности научнаго міроощущенія, господства нечеловѣческихъ силъ и скоростей, преобладанія механическихъ ритмовъ надъ органическими. Борьба противъ кинематографа была бы возможна, если бы возможна борьба противъ цѣлой эпохи. Едва ли, однако, это задача, которую можно поставить поколѣнію, уже отплывшему отъ священныхъ береговъ старой Европы къ неизѣдомымъ горизонтамъ.

П. Муратовъ.